

Новая волна

Сопрягать надо, пора сопрягать.

Л. Толстой

(М о н о л о г)

Пробило двенадцать часов. Все сидевшие за столом зашумели, стали высказывать свои пожелания на Новый Год и звонко чокались бокалами. Потом все успокоилось, и среди наступившей тишины поднялся с места высокий старик с блестящими глазами, с длинными, совершенно седыми волосами. Как бы преодолев некоторое внутреннее смущение, он заговорил негромким, мягким голосом, который мало-помалу стал крепнуть и развертываться:

— Мне хочется сказать вам несколько слов о русской литературе, которую я люблю, как лучшее создание русского народа, и с которою связываю самые светлые надежды на будущее. Я верю, что ее идеи, ее идеалы, ее нравственные перспективы станут когда-нибудь величайшею силою в исторической жизни русского общества. Оно жизненно выйдет на ту дорогу, по которой литература шла в своих мечтаниях и надеждах. Я хочу сказать, что русский народ станет достойным своих художественных гениев и создаст для их духа, так сказать, социальную плоть. Воплотится то, что грезились Толстому и Достоевскому! Быть мо-

жет, вы скажете мне, что эти два художника совершенно различны по характеру своих воззрений и утопических мечтаний, что нельзя одновременно идти к идеалам Толстого и идеалам Достоевского, потому что между ними лежит бездна. Правда. Это так. Но между этими двумя противоположными гениями возможно высшее примирение, возможен синтез идей Толстого и Достоевского, и этот синтез создаст новый тип в литературе.

Отдадим себе отчет, в чем именно заключается величие Толстого на русской почве,— величие его, как художника и как мыслителя. Более народного, более гениального искусства трудно себе представить. Читаешь его и все время видишь перед собою то, о чем он говорит, точно своими глазами. Переживаешь психологию его героев с тою интимностью, с какою они сами ее переживают. Пульс читателя бьется заодно с их пульсом. И все так колоритно в смысле народном, самобытно и в то же время всечеловечно. Но не в одном этом гений Толстого. В этой стороне его творчества сказалась только стихийная, бессознательная сила русского народа, то, что дается гению свыше. Иногда же сквозь величавый эпос этого русского Гомера прорываются молнии чисто сознательной гениальности, которая видит в отчетливых понятиях то, что угадывается в туманных ощущениях сердцем. Вот когда Толстой намечает великую задачу

для русского народа, великий путь для его истории. Я разумею те разбеги сознательной мысли, которые он делает в своем искусстве: они сливаются по своему содержанию с тем, что Толстой развивает в своих публицистически-философских статьях, но здесь, в его искусстве, его мысли шире, полнее, как бы звучнее и стихийнее. В них слышится звон народного духа — нечто духовно-бессознательное и духовно-сознательное, огромное мышление, в котором раскрывается правда, добытая инстинктивным ощущением божества. Во всей мировой литературе я не знаю ничего великолепнее тех художественно-философских откровений, которые льются на читателя с некоторых страниц «Войны и мира». Помните вы сцену, когда Андрей Болконский упал на поле сражения? В одну секунду перед ним вдруг открывается новая правда. Он видит над собою высокое, далекое, бесконечное небо и весь внутренно перерождается в своих ощущениях, в своих отношениях к жизни. Теперь он «понимает» ее иначе. Теперь Наполеон, со всем его земным величием, этот гений войны и завоеваний, кажется ему маленькой ничтожной фигурой, недостойной никакого интереса. Болконский видит земные дела как бы с высоты неба, и человеческая жизнь получает для него другое, высшее значение. Она движется и должна двигаться туда, куда зовет ее «справедливое» и «доброе» небо. Из неясного духовно-

го ощущения какой-то иной, наджизненной правды выливается широкая логика, и в ее свету происходит переоценка всех земных ценностей. И с точки зрения культурных интересов русского народа, особенное значение имеет то, что Толстой до конца продумал этот вопрос, довел его до последних логических заключений: именно логика, сознание выясняет тот путь, по которому должна, идти история. В этом смысле Толстой типично духовный писатель, потому что дух, в противоположность душе, с ее эмоциональными силами, с ее слепыми страстями и пристрастиями, всегда вызывает в человеке сложную логическую работу. Он как бы исходит из темноты, из бессознательности, из неясных ощущений и настроений, и сейчас же зажигает яркое пламя сознательности. Душа не любит философствовать. Она любит все субъективное, конкретное, частное, все упоения минуты, пышную романтику своего «я». Дух же всегда философствует: он все объективирует, обобщает, созерцает те мировые законы, в которых частное всегда представляется в подчинении общему. Он упивается этими своими созерцаниями и сквозь экстазы своего просветленного мышления видит вечные правды жизни, всем нужные, для всех обязательные. Когда я говорю, что Толстой— истинно духовный писатель, я этим самым говорю, что и в народе, его создавшем, кроме великих сил бессознательного

поэтического творчества, уже заложены семена великого мышления. И это мышление должно развернуться в жизни, в тех светлых направлениях, в которых работает искусство этого народа, должно дать силу этому народу быть верным себе в своей истории, в своих делах, в своем социальном строе. Толстой — созерцатель тех нравственных идей, которые должны обновить человеческую жизнь в ее массовом выражении, в широких движениях общественности. Он рассматривает человеческую душу не на почве индивидуализма, не в связи с интересами личного развития человека, а именно в ее связи с «справедливым», «добрым» небом, перед лицом которого уравниваются, как бесконечно малые величины, все души, все люди. Это эпический писатель в лучшем смысле этого слова, и через него народный дух говорит всему миру о своем тяготении к объективным нравственным правдам. Старый энтузиаст остановился, бросил взгляд на присутствующих и, видя, что его слушают, вновь заговорил с еще большим оживлением и подъемом:

— Я сказал, что искусство Толстого залито сознательной мыслью — огромной, величавой, не менее замечательной, чем само это искусство. Мысль эта, мягкая, гуманная, развертывается вширь. Но вот перед нами Достоевский, другой герой современной русской литературы, фанатический апостол русской народности. Дух этого челове-

ка ярче, чем у Толстого, горит к небу и мысль его, сверлящая и разрушающая, уходит в высоту и глубину. В этом смысле нет писателя, равного Достоевскому, не только в русской, но и во всемирной литературе. Он ставит вопрос о человеке и Боге, в противоположность Толстому, именно на индивидуалистическую почву. Искусство его полно художественной диалектики, в которой обрисовывается отношение между человеком и Богом— между личной волей и абсолютным духом мира, между страстями человека и его обновительными религиозными экстазами. Общество как будто бы и не видно в его искусстве: виден только человек в процессе его психологического разложения и духовного перерождения. Видно, как ветхий человек в борьбе с самим собою, со своим демонски личным началом, мало-помалу облекается новою душою, новою плотью и подходит к той границе, за которой для него начнется новая жизнь. Через ураганы духовно-плотских противоречий он переводит человека на новый берег и намечает для него новую бесконечную дорогу. Эта дорога — не та, о которой мечтает Толстой, но важна здесь самая потребность в новой дороге, потребность, так же, как и у Толстого, ставшая сознательной идеей. Я бы сказал, что различие между этими двумя гениями русской литературы заключается в следующем. Толстой через своего Бога видит в будущем нравственно благородного, доброго

человека, видит его частью огромной массы, которая путем единичных нравственных усовершенствований, мало-помалу, вся облагородится в своих инстинктах и, сравнившись перед лицом неба, пойдет к своему духовному и жизненному благу. Строй мышления, типичный для эпического таланта! Человечество представляется в будущем огромным ржаным полем, тихо колеблющимся и зреющим под высоким, добрым и справедливым небом. У Достоевского все иначе. В произведениях его рокочут громы с темного византийского неба и сверкают молнии страстной ненависти ко всему, что не молится его Богу, византийскому Богу. Но если отбросить его византийскую догматику, величественную, но напряженную и на русской почве искусственную, то в его творчестве останется еще нечто органическое и духовно самобытное, нечто такое, что имеет огромное значение для данного момента. Этот великий тайновидец созерцает человека в его трагических переживаниях, во всех болях его неотступного мышления на метафизические темы, — в тех логических и психологических процессах, от которых некуда уйти сложной натуре и которых нельзя прекратить в человеке никакими чисто моральными перспективами. Достоевскому небо не кажется таким ясным, добрым и справедливым, как Толстому. Бездны его полны для Достоевского апокалипсических видений — не только

умиротворяющей благодарности, но и соблазнительной красоты, которая зажигает в человеческой душе разрушительные пожары. И на той новой дороге, которую он намечает для человечества, он видит не нравственную идиллию в духе Толстого, а вечную диалектику, вечную борьбу, вечный бунт земной воли и вечное шествие к высшим правдам через жертвы и экстазы. Вот в каком пункте Достоевский является типичным представителем современности и, так сказать, точкой исхода для новой волны в жизни и литературе. Он возлюбил сложного, мыслящего человека, раскопал в нем все наслоения его души и наметил для него цель жизни— не в стремлении к мирному земному благу, а в работе духа, в непрерывном искании божества, в одухотворении красоты.

Итак, мы переживаем Толстого и переживаем Достоевского,— нам нужен синтез. Нужен синтез, который захватил бы то вечно-величавое, что есть у Толстого, и то неизменно-истинное и глубокое, логически и психологически самоценное, что есть у Достоевского. У Толстого велико его чувство внутренней слитности человека с человечеством, его органической принадлежности человечеству. Дан человек и человечество одновременно, и один неотделим от другого. У него человек есть часть огромного мира. У Достоевского человек сам по себе есть некоторый мир, только

соприкасающийся с другими мирами, с другими людьми. И этот мир шевелится в какой-то темноте, вдали от вольного воздуха, в оторванности от неторопливо живущей толпы, в конвульсивном стремлении к Богу помимо людей. У него человек живет в страшном одиночестве. И кажется, что он ничего не видит, кроме себя или предметов своих страстей, кроме того, что происходит внутри его.

Достоевский — это целая полоса современной жизни. Русское общество в течение долгого времени жило в разобщении своих живых сил, в одинокой психологической и мыслительной работе, в оторванности оригинальных единиц от того, что считается банальными массами. Переживался глубокий критический момент разлада со старыми, чересчур простыми понятиями, и собирались силы для новых духовно-логических построений. Культурно-передовые силы общества жили эстетикой индивидуализма и металась в искании обновительной метафизики. Теперь, мне кажется, наступает новый момент. Пережив психологическую диалектику Достоевского и взяв от нее ее лучшие соки, ее кровь, ее энтузиазм, современный человек начинает чувствовать себя на новой дороге. Он начинает видеть односторонность индивидуалистического культа, он начинает тяготеть к обществу, ощущать свою связь с человечеством. Ему больше не хочется называть его баналь-

ным: он фиксирует не его банальность, а его страдания и его стремления к правде, его великие права на усовершенствование своей земной жизни и на свободную поэзию неба. Рождается новый человек с новой цельной волей, направленной в жизнь, но действующей под импульсом сознательной, индивидуально продуманной религии. И этот новый человек для воплощения своих высших идей вновь возьмет в руки старый, но вечный рычаг— солидарность с обществом, с человечеством. И он, этот новый человек, создает новую волну в литературе: не односторонне-аналитическое творчество в области личной психологии, а творчество синтетическое, в котором личность, со всем богатством ее психологических и философских настроений и потребностей, представится живою клеткою массового организма. Происходят многознаменательные процессы в жизни, должна начаться или, вернее сказать, возродиться многознаменательная идейная работа в литературе. Идет, идет новая волна в русском искусстве! Выпьем же, господа, за обновление жизни и за обновление русской литературы!

1904. Январь.